



## М. Н. ПОКРОВСКИЙ

### Александр I

<...> совет 1810 года был попыткой создать учреждение, которое разделило бы с государем ответственность в критическую минуту. В случае, если бы попытка оказалось удачной, если бы общество отнеслось с сочувствием к новому учреждению, оно могло бы быть расширено, — рядом с советом явилась бы государственная дума. Выражением общественного мнения и была записка Карамзина «О древней и новой России»: из нее можно было убедиться, что дворянское общество по-прежнему гораздо больше занято неприкосновенностью социального строя, нежели усовершенствованием политического. Один из новейших историков очень верно охарактеризовал записку Карамзина, сказав, что это была компиляция из всех разговоров, какие автор слышал вокруг себя. Карамзин дал программу «среднего дворянина», точно так же, как Воронцов<sup>1</sup> дал в свое время программу русских «монархистов» из придворной знати. Тем любопытнее сравнить эти две программы: нас поразит чрезвычайно резкий контраст. Воронцов и его товарищи видели спасение в учреждениях; источник всякого зла, по их мнению, заключался в управлении посредством лиц.

Карамзин, по-видимому, не представлял себе иного управления, кроме личного: лицо для него все, учреждения — ничто. Главное заблуждение Сперанского, — на которого, не называя его имени, он намекает довольно ясно, — «излишнее уважение к формам государственной деятельности». Формы сами по себе ничего не значат: следует «искать людей»<sup>2</sup>. Министерства и совет могут быть полезны только в том случае, если их будут составлять «мужи, знаменитые разумом и честью»\*. <...> Все ме-

---

\* В последнем слове можно, пожалуй, видеть еще слабый отголосок широкой и стройной аристократической теории кн. Щербатова: но это только отголосок. (Прим. М. Н. Покровского.)

стное управление, которым особенно дорожили дворяне, строится на личном принципе, упрощенном почти до той степени, какую он имел при Павле. Все дело будет сделано, если удастся найти 50 хороших губернаторов: они обуздают корыстолюбивых чиновников, укротят жестоких господ, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, сохранят пользу казны и народа. «Хороший губернатор» должен быть ходячим провидением, и притом не столько милостивым, сколько грозным. «Страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных». «Строгость, без сомнения, неприятна для сердца чувствительного», но без нее не обойдешься. Необходимы «грозные указы», и гроза над теми, кто должен следить за исполнением этих указов: нужно строго смотреть за судьями. «Спасительный страх должен иметь ветви»: пусть каждый начальник отвечает за подчиненных. Террор сверху единственное средство обеспечить благонадежность администрации: приведенные выше психологические основания этой системы Карамзин подкреплял авторитетом Макиавелли. И нужно признать, что в презрении к человеку русский историк нисколько не уступает итальянскому мыслителю. «Не должно позволять, — говорит он, — чтобы кто-нибудь в России смел торжественно представлять лицо недовольного... Дайте волю людям, они засыпят вас пылью. Скажите им слово на ухо — они лежат у ног ваших».

Часто думают, что Карамзин, презирая подданных, уважал зато власть, повелевавшую этими «ленивыми и лукавыми» рабами. Но это совершенно ошибочно, — его психология гораздо последовательнее. И для власти единственная узда все тот же всеспасающий страх: учреждения в качестве сдержек этой власти ни к чему не ведут. Ходячая мысль XVIII века, что «не персоны должны управлять законами, а закон персонами», что закон должен быть выше минутного проявления личной воли хотя бы и самодержавного государя, это общее место наших дворянских либералов щербатовской школы кажется Карамзину новостью, смешной, но не безопасной в то же время. «Кому дадим право блюсти неприкосновенность закона? — спрашивает он. — Сенату ли? Кто будут члены их? Выбираемые государем или государством? В первом случае они угодники царя; во втором — захотят спорить с ним о власти: вижу аристократию, а не монархию. Далее, что сделают сенаторы, когда монарх нарушит устав? Представят о том его величеству? А если он 10 раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят ли народ? Всякое доброе русское сердце содрогнется от

сей мысли. Две власти государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, а право без власти есть ничто...» Всякая попытка ограничить власть государя учреждениями — только «мудрования ученические», которые нужно оставить: но это не значит, чтобы Карамзин был противником всякого ограничения власти; чем? *страхом возбудить всеобщую ненависть в случае противоположной системы царствования.*

Как видим, Карамзин принимает систему Павла Петровича со всеми его последствиями: доброе русское сердце, содрогавшееся при одной мысли о бунте русского народа, очень хладнокровно принимало дворцовый переворот, почти как нормальную меру «обуздания» будущих государей «в злоупотреблениях власти». Это очень далеко от того монархического легитимизма, какой обыкновенно приписывают Карамзину: но зато это очень сближает русское дворянство начала XIX века с предшествующим поколением. Своеобразная конституция, основанная на взаимном страхе государя и подданных, вовсе не была личным изобретением Карамзина: Иоанн IV<sup>3</sup>, Петр III<sup>4</sup> и Павел Петрович<sup>5</sup> были готовыми образчиками для того, кто хотел теоретизировать на этой почве. Проекты «монархической» конституции и были попыткой сделать шаг вперед от этой первобытной системы к более совершенным формам политической жизни, — от «деспотии», как ее понимал Монтескье<sup>6</sup>, к «монархии». Для Щербатова<sup>7</sup>, Воронцова, Мордвинова<sup>8</sup> деспотия была пройденной ступенью: для Карамзина это было последнее слово политической мудрости.

Было бы совершенно напрасно объяснять такой поворот вправо реакцией национального чувства, как это иногда делают. Наполеон, войны, говорят, привили русскому дворянству любовь к своему и отвращение к иноземному: за разговор на французском языке в гостиных брали штраф и даже пытались заменить шляпки кокошниками. Но дальше этих детских проявлений показного патриотизма дело никогда не шло: в интимном кругу, где не перед кем было рисоваться, продолжала господствовать более удобная и привычная французская речь, а патриотические восклицания часто обдумывались на французском языке и только потом переводились на русский: что и патриотическое предисловие к «Истории государства Российского» было сначала набросано по-французски. В «Записке о древней и новой России» немало патриотических фраз, но едва автор переходит из области общих мест на деловую почву, как сейчас же оказывается во власти тех западных, преимущественно

французских образцов, какие он привык копировать с детства. «Для того ли существует Россия, как сильное государство около тысячи лет, — с пафосом восклицает он в одном месте, — для того ли около ста лет трудятся над сочинением своего полного Уложения, чтобы торжественно перед лицом Европы признаться глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже шестью и семью экс-адвокатами и экс-якобинцами?» Такое негодование вызывает в Карамзине одно подозрение, что Сперанский в своем уложении, еще не опубликованном, хочет сделать заимствования из наполеоновского Кодекса. Но возьмите административный идеал самого Карамзина, его «хорошего губернатора» и вы увидите весьма точную копию наполеоновского префекта, представителя императорского абсолютизма в департаменте, во все вмешивающегося и за всем следящего. И всего дальше этот карамзинский идеал от того «национального» административного образца, который он так одобрял, от екатерининского губернатора, гостеприимного хозяина губернского дворянского общества, в котором он был не столько начальником, сколько «первым дворянином в губернии».

Если искать «национальной» подкладки в политическом мирозерцании Карамзина, то ее придется найти не в области политических форм, — эти формы, как и всякие другие в то время, всегда были заимствованные. «Национальным» был тот социально-политический субстрат, которым в сознании русского дворянина начала XIX века окрашивались все формы. Этот субстрат давало крепостное право и крепостная вотчина со всеми ее порядками. В своей записке Карамзин с великим трудом и, очевидно, нехотя признается, что крепостное право есть зло. Нужно прочесть его переписку с бурмистром его деревни, чтобы представить себе, как серьезно понимал он свои господские права и как искренно он верил в свое помещичье призвание. Мы приведем отрывок из одного письма, очень известного, но слишком яркого, чтобы его можно было опустить. «Пишешь ты ко мне, бурмистр, что хотя и приказал я женить крестьянского сына Романа Осипова на дочери бывшего поверенного Архипа Игнатьева, но миром крестьяне того не приказали: кто же из вас смеет противиться господским приказаниям? Думаю, что это по глупости вашей, и для того вам на сей раз спускаю, но снова приказываю вам непременно женить упомянутого Романа на дочери Архиповой и не отдавать его в рекруты. А если впредь осмелится мир не исполнить в точности моих предписаний, то я не оставлю его без наказания. Всякие господские по-

веления должны быть святы для вас: *я вам отец и судья*. Мое дело знать, что справедливо и для вас полезно... Кликучам объявить мои господским именем, чтобы они унялись и перестали кликать. Если же не уймутся, то приказываю тебе высечь их розгами, ибо это обман и притворство»<sup>9</sup>.

Присмотревшись к этим домашним порядкам русского дворянина Александровской эпохи, мы ясно увидим, где этот дворянин нашел свой — уже действительно национальный — идеал государственного устройства. Государь — провидение, посредством страха управляющий своими рабами-подданными, это увеличенный в миллион раз и несколько — очень мало — идеализированный глава большого крепостного хозяйства. Русский национализм Карамзина на поверку оказывается социальным консерватизмом: старые общественные формы должны были обеспечить старый общественный строй. А у дворянства как раз в эту минуту были свои основания опасаться за целостность этого последнего. <...>

## **Борьба классов и русская историческая литература**

<...> литература, дошедшая до нас от Смутного времени, есть литература имущих классов, и ни одного произведения, которое отражало бы в себе точку зрения крестьянства, к сожалению, мы не имеем. Но это, конечно, заставляет нас относиться к этой литературе с сугубым недоверием и особенно критически рассматривать все ее показания. Если о Борисе Годунове<sup>10</sup> мы находим в ней столько ядовитой лжи, пущенной в оборот Василием Шуйским<sup>11</sup>, — а впоследствии его противники, главным образом сторонники Романовых<sup>12</sup>, умели рассказать немало пахучих анекдотов о самом Василии, — то какой же «объективности» могли бы ожидать от тогдашних историков вождь восставшего крестьянства Болотников или тушинское правительство? Изучать народное движение «Смуты» по дошедшим до нас современным хронистам — то же, что изучать Октябрьскую революцию по «Русскому слову»<sup>13</sup>.

Эту довольно сухую материю, вас, вероятно, несколько утомившую, мне бы хотелось закончить веселым штрихом. Этот веселый штрих заключается в знаменитой «Истории государ-